

Петр Полинов

Кандидат филологических наук

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ И ЕВРАЗИЙСТВО (30-е годы: историко-литературный контекст)

*Где нет критики,
там нет любви к искусству.*

А.Пушкин

30-е почти целиком прошли под знаком даже не аскетизма, свойственного больше героике гражданской войны и 20-х годов, а жестокости, которой с избытком хватило и предыдущему десятилетию, но в «мирные» 30-е годы насилие приобрело почти самодовлеющий характер. Творчество самых разных, «непересекающихся», писателей несет на себе эту печать: от Бабеля (с его «Конармией») до Шолохова (как «Поднятой целины», так и «Тихого Дона», создававшихся почти параллельно).

Даже литература военных 40-х годов на фоне просто кровавой литературы 30-х не сопряжена с культом такой дикой силы и жестокости, как в 30-е годы, когда шла действительно беспощадная и беспрецедентная череда насилий между гражданами одного государства, а нередко и членами одной семьи. К примеру, Достоевский, талант которого называли жестоким, в «Преступлении и наказании» решился назвать Раскольникову матереубийцей (разумеется, косвенным виновником смерти матери, не пережившей преступления ее Роды) только в черно виках. А у Шолохова крепкий хозяин Яков Лукич Островнов, единственный сын своей матери, уморил ее голодом в своем же доме, заперев в комнате.

Философия непротivления толстовского Платона Каратаева найдет отклик на просторах русской литературы только через сто лет, в «Привычном деле» беловского Ивана Африкановича, с его нехитрой и универсальной теорией: «И под перьями жизнь, и под фуфайкой жизнь, дело привычное».

Только в эти годы, может быть, и стало понемногу оттаивать замороженное идеологией сознание людей. «Деревенская проза» тонким, но кристально чистым родником пробьется, говоря языком Солженицына, «из-под глыб» чудовищной идеологии 20 века.

Показательно замечание С. Залыгина, одного из «отцов» деревенской прозы, об «удивительно безбожном и первоизданном» творчестве Павла Васильева, что, может быть, и было первопричиной жестокости душ, как бы не ведавших добра и зла. В одной из первых биографических книг о Павле – изданной в Казахстане книге Сергея Шевченко «Будет Вам помилование, люди» – приводятся выразительные сцены из детства будущего поэта, пронизанные нечеловеческой жестокостью, оказавшей, как мне кажется, огромное влияние на формирование его характера, а затем и на все его творчество. (Кстати, жестокостью отличался отец Достоевского, что, может быть, также, в известной мере, объясняет многочисленные сцены насилия в его романах, хотя, скорее, важнейшей причиной здесь является его художественная честность и нравственный максимализм писателя, ставший вообще визитной карточкой русской литературы 19 века.)

С. Залыгин обобщает уже из своего времени нравственно-эстетические оценки и тем самым смягчает их. Современники поэта в своих воспоминаниях были гораздо более определенны. С. Островой, по его же словам, «прекрасно знавший» Васильева, в интервью А. Исполнову говорил: «Пашка был человеком жестоким... Он был на редкость общителен, но внутренне жесток... Я помню, когда пришел Женька Забелин (омский поэт. – П.П.) из ссылки, с которым они когда-то очень дружили... И когда мы пришли к Пашке, я видел, насколько он жесток, как



он издевался, – мне подмигивал, а ему улыбался в этот момент. Глаза у него были как лезвия бритвы. Это было...» (архив Дома-музея Павла Васильева в Павлодаре). Завершая беседу, С. Островой счел нужным отметить и другое: «У него было такое обаяние, что ему можно было простить все. Это обаяние в нем, так сказать, высвечивал талант, и ты уже ему прощал все, зная заранее...» (там же).

Другой земляк Васильева также был достаточно откровенен в своих воспоминаниях. В архиве С. Подделкова, первого председателя комиссии по творческому наследию П. Васильева, сохранилось интервью М. Скуратова, записанное в начале 80-х годов, через полвека после описываемых событий: «Я часто видел его в такой... ну, запальчивости... И сказать, что он был человеком какого-то доброго сердца, как хотелось бы... Я бы на это не отважился.

Вы, вероятно, очень удивитесь, мне кажется, что при известных обстоятельствах Павел мог быть очень жестоким человеком. И вот в этом смысле он мог переступить даже через труп родного отца» (там же).

Эти воспоминания близких поэту людей способны не только прояснить те или иные черты, безусловно, сложного, неоднозначного характера, но и масштаб его поэтического дарования. Упреки в жестокости или культе силы, составляющие заметную особенность поэтического мира Васильева, можно истолковать и с позиции эстетически-бескомпромиссного убеждения Достоевского, которое заключалось в способности, вернее, даже мужестве художника «додумывать мысль до конца», не отводить взгляда от самых тяжелых сторон и проявлений бытия. Более того, осознавать себя органической частью этого бытия, как Достоевский, парадоксально заявивший о своем, может быть, самом жутком персонаже, «бесовском» Ставрогине: «Я его из сердца взял». Поистине, бессмертны сердце и талант гения.

Что касается жестокости, то к уже сказанному можно добавить, что, конечно, здесь все далеко не просто, все имеет свои истоки как в семье, вернее, в бытовой традиции, так и в отечественной истории. Достаточно вспомнить васильевского «Мясника»: поэзия, созданная из страшной картины забоя скота, – это показатель эстетический или нравственный?! Конечно, речь должна идти об особенностях творческой индивидуальности поэта, которая явилась вызовом сложившимся поэтическим традициям.

Что касается родной истории, то М. Скуратов приводит совершенно дословно выдержку из письма былинного Ерофея Павловича Хабарова московскому царю, государю, о том, как он двинулся в землю дауров: «И в пень их рубил, и в капусту крошил, великий государь».

А чтобы рассказать о том, как осваивалась Сибирь, Васильеву оказалось достаточно одной только строки: «Эти стаи привел на Иртыш Ермак». Даже не строки, а ключевого слова – «стая», которого тоже достаточно для совершенно определенных ассоциаций.

Если говорить о генах Павла Васильева, то метафорически он, как и его герои, тоже имел кровь «мешанную с киргизом» и «слишком красную, чтобы смешаться с другой».

Судьба Васильева в то же время вполне созвучна эпохе, когда жизни часто были подобны вспышке факела, не знающего тления. «Я поражаюсь, – заключает Михаил Скуратов, – как он в свои небольшие годы... как много он успел пожить.

Он, знаете, походил на огнедышащий вулкан. Во все стороны разбрасывался...

Но вот положительные качества. Возвратимся к нему, прежде всего как поэту, создателю замечательных стихотворений. Мы вовсе не должны создавать из облика поэта икону. Я на этом решительно и твердо стою».

Последнее утверждение кажется принципиальным. Трагические изломы сознания людей, живших в эпоху, самонадеянно начавшую историю с белого листа, находили отражение в потрясающих художественных образах, но преодолевались, по толстовскому определению, только «живой жизнью».

«Русская литература конца 1980-х годов движима жаждой воссоединения. Дрожжи веры, несомненно, делают свое дело в этих трудных поисках примирения, – почти вторит С. Зальгину спустя 30 лет Ж. Нива. – Наивный и примитивный прометеизм тридцатых годов давно ушел в прошлое. Наряду с духовным поиском в русской литературе снова возникли созерцание, преклонение и примирение.

Произведения В. Распутина и В. Астафьева открывают нам лик сочувствия и сострадания, который, казалось, исчез навсегда».

Эти размышления Ж. Нива в данном случае уместны и точны именно для постижения ушед-

шей эпохи. «Деревенская проза» в контексте литературы 20 века может быть рассмотрена и как художественный, и как нравственный предел той разрушительной эпохи, опустошившей души и разорившей веру. Именно в этот период на первый план вновь, как и в 19 веке, вышли категории нравственно-духовные.

«...Повесть В. Распутина «Пожар» рассказывает о крахе времени, поработившего людей.

Это поразительное стремление русской литературы – вновь обрести сыновнее чувство, связующее тварь с творцом, – должно быть оценено на фоне русского атеизма: ведь и он возник из раздвоенности русской культуры и яростного богоборчества радикальных нигилистов».

Тонкое замечание о раздвоенности русской культуры также чрезвычайно уместно и значимо. Русская литература 19 века, разумеется, в контексте русской истории, действительно развивалась как бы в двух направлениях: дворянском (сельско-крестьянском), если пользоваться ленинским определением, и разночинском (мещанско-городском). И если одно направление завершилось «Исповедью» Толстого и его трагически-символическим уходом из Дома, то другое – имело в своем арсенале такие произведения, как философскую утопию Чернышевского с символическим названием «Что делать» и остро публицистическую (открывшую еще один – пролетарский – период) прокламацию Горького «Мать»: первое из которых «глубоко перепахало» будущего вождя – кострового мирового пожара, а другое, по его же оценке, явилось «очень своевременной книгой». Понятно, что оценки носили абсолютно политический характер, но и литература как бы «слилась» с исторической реальностью. После революции «ушла из дома» уже вся старая русская литература, эмигрировав за пределы родины в лице писателей-классиков, а Горький, откликнувшись по инерции на новую эпоху, теперь уже «Несвоевременными мыслями», и ужаснувшись масштабам «кровавой» бури, которой как будто жаждал в своем якобы романтическом, а на самом деле – бездомном прошлом, потом все-таки избрал роль придворного, но далеко небезобидного пингвина, с истерическими замашками буревестника.

Эта колоссальная проблема – изначальная двойственность русского пути: с Богом и без Него – не исчерпывает тем не менее проблему до конца, потому что есть еще один вечный или как еще принято говорить, проклятый вопрос русской интеллигенции о сущности России: Европа она или Азия? В 19 веке шли бесконечные баталии между западниками и славянофилами, с 20 веком связана другая проблема – евразийство, которую в ушедшем веке так и не удалось разрешить, прежде всего потому, что столичное литературоведение просто исключило ее из числа актуальных вопросов, требующих того или иного разрешения. Но и череда историко-социальных потрясений, пережитых ушедшим веком, тоже так и не была прояснена и осмыслена наукой. Трагедия 20 века досталась «в наследство» новому веку и новому тысячелетию.

Но если трагедия преодолевается «живой жизнью», то постигается тяжелым, но, наверное, неизбежным сопряжением разных (и совсем не обязательно соседних) исторических эпох и национальных культур. Еще кн. Н.С. Трубецкой, один из основателей евразийской философской школы, просто и емко сформулировал суть коренного русского национального вопроса: «Кто мы такие?»

В стихотворении Н. Черновой, под каждым словом которого, безусловно, мог бы подписаться ее земляк Павел Васильев, проблема решена поэтически изящно и исторически совершенно бескровно:

И в слово русское мое,
 Вплелась густая речь аулов,
 Еще – ковыльное былье,
 Еще – тревога караулов,
 Горячность диких скакунов
 И горечь белого емшана
 Вошло в дыханье русских слов
 И с кровью русичей смешалось.

Что же касается прошлого, то постепенно мы начинаем понимать, что по одним фактам, даже самым ярким, – историю не напишешь. Более того, факт – вне истории, если он не служит концептуальному осмыслению прошлого.

Для создания объективной и всеобъемлющей картины глубокого прошлого человечества необходимо широкое государственное мышление и точный, конкретный аналитический ум.

По существу, речь идет о том, что само методологическое обеспечение историко-филологической науки должно быть самым серьезным образом скорректировано и освобождено, в первую очередь, от многолетних идеологических стереотипов и клише советской идеологии, создавшей своеобразное прокрустово ложе для любой научной работы, в котором, в той или иной степени, мы до сих пор пребываем.

На этом фоне попытки личностного и национального самоопределения неизбежно вызывают к жизни те или иные идеи, которые способны сыграть свою роль даже в формировании национального самосознания. И самой востребованной идеей (как на уровне бытового сознания, так и на уровне государственной политики), безусловно, окажется идея евразийства, которая на рубеже 20-21 веков переживет свое второе рождение.

Причем евразийство – это, во-первых, не только сфера геополитики (проблема носит всеобъемлющий характер), во-вторых, исторические корни этого уникального явления значительно глубже, нежели принято считать. Зафиксированная историей и несвойственная тогдашней Европе веротерпимость на стыке Европы и Азии, надо признать, обязана политике, идеологии и самой личности Чингисхана, который в историческом плане сумел вначале объединить и таким образом сохранить от Европы колоссальную по масштабу и культурному многообразию территорию, наследницей которой суждено было стать Российской империи и которая затем за века выносила на огромных пространствах самого оригинального материка, омываемого с четырех сторон всеми четырьмя мировыми океанами, свою оригинальную евразийскую сущность.

Л. Гумилев в книге «Из истории Евразии» (М., 1993, с. 17) особо подчеркивал, что народы, обитавшие на территории Центральной Азии, «играли свою роль в становлении культуры и противостоянии Востока и Запада. Они составляли как бы особый регион в культурной истории человечества, не менее важный, чем китайский и европейский. То, что они занимались больше скотоводством, нежели земледелием, не мешало развитию их искусства на Алтае, в долинах великих рек: Волги, Дона и Днепра, в оазисах в междуречьях Сырдарьи и в предгорьях Тянь Шаня. Эти народы с того момента, как они вошли в историю, составляли самостоятельный регион развития искусства, идеологии, экономики».

Тема евразийства до 1989 года, как правило, не поднималась, лишь косвенно затрагивалась в связи с книгами Л. Гумилева, О. Сулейменова, которые в советское время сами подвергались остракизму. Актуализации евразийской проблематики во многом способствовали публикации в научно-популярной литературе трудов так называемых «классиков евразийства», заслуга которых состоит в том, что, находясь в эмиграции, они первыми по-новому поставили проблему баланса между Европой и Азией и, соответственно, соотношения тюркского и славянского блоков внутри такого поликультурного и многоэтнического образования, как СССР.

Однако евразийские идеи имеют глубокие корни в истории мировой общественно-политической мысли, сам термин «Евразия» впервые был введен в 1883 году австрийским ученым Г. Зюссом и первоначально был обозначением географического пространства. Впоследствии, в 20 веке он приобретает политический смысл. Так, например, в предложении о советской федерации от 1921 года понятия «евразийский», «Евразия» встречаются у Ленина.

В формировании концепции евразийства как политической доктрины, как правило, выделяют два этапа: первый – классическое евразийство (20-30-е годы), второй – неоевразийство, возникшее в начале 90-х годов ушедшего столетия.

Впервые евразийство заявило о себе в начале 20-х годов. В 1921 году в Болгарии вышел сборник евразийцев «Исход к Востоку», где авторы, объединенные «на некотором общем настроении и мироощущении», представили себя в качестве «нового начала в мышлении и жизни, работающих на основе нового отношения к коренным, определяющим жизнь вопросам, над радикальным преобразованием господствовавших доселе мировоззрения и жизненного строя» (Савицкий П.Н. Евразийство // Мир России – Евразия: Антология – М., 1995). Среди молодых эмигрантов, не принявших советской власти, самым известными были Н.С. Трубецкой – ученый, лингвист, выпустивший незадолго до выхода упомянутого сборника евразийцев книгу «Европа и человечество» (1920), П.Н. Савицкий – геополитик и экономист, уделявший в своих работах больше внимания проблемам географии и геополитики, влиянию природной среды на складывающуюся этническую систему. Некоторое

время в русле евразийской идеи работали философ Г.В. Флоровский, а также П.П. Сувчинский, Г. Вернадский, Н.Н. Алексеев, Л.П. Карсавин, Н. Толль, В.Н. Ильин и многие другие. Помимо отдельных работ они выпустили несколько сборников с характерными названиями «На путях. Утверждение евразийцев» (1922), «Россия и латинство» (1923).

В 1932 году была учреждена Евразийская организация, а чуть позже была предпринята попытка оформления ее в политическую партию. Однако уже к середине 30-х годов евразийское движение вошло в полосу кризиса. Это было связано не только с исчерпанием основных идей и падением уровня выпускаемой продукции, поляризацией движения, но и подрывной деятельностью «агентов ГПУ», проникших в евразийское движение.

Нужно подчеркнуть, что именно евразийцы дали оригинальную трактовку истории России. С их точки зрения, одним из главных факторов в ней является связь культуры и жизни народа с географической средой, его «месторазвитием». Именно здесь необходимо искать истоки самобытности различных стран и народов, в том числе и причины их своеобразного национального развития. Не отрицая славянскую основу русского народа, равно как и значение Византии, они обратили внимание и на ту роль, которую сыграло тюркомонгольское наследие, без учета которого нельзя понять историю России.

Занимая особое геополитическое положение, Россия объединяет в себе части Европы и Азии. Тем самым она образует «срединный материк», который, по мнению евразийцев, может называться Евразией и представляет собой то геополитическое пространство, в котором долгое время существовала Россия, а затем СССР. Сердце континента («море» континента) – степи, которые широкой полосой проходят через Беломоро-Кавказскую, Туркестанскую (Казахстанскую) и Западную-Сибирскую равнины, объединяют промышленный и культурный центр России, Западную Сибирь и Центральную Азию. Таким образом, отсутствие пространственных и иных перегородок между населяющими ее народами создавало возможность формирования некоей национальной или «сверхнациональной», общей всему материке евразийской культуры, что и предопределило ее самобытное развитие. Учитывая влияние именно географического фактора, евразийцы создали свою политическую доктрину. Стержень их программы – это отрицание европоцентризма, убежденность в особой исторической миссии России.

Акцент ставился евразийцами на освещении роли «азиатского элемента» в судьбах России и ее культурно-историческом развитии, что подводило к шокирующему общественное мнение выводу – «без татарщины» не было бы России.

Евразийский анализ российской истории давал интересный материал для размышлений, заставляя усомниться в безусловной истинности распространенных оценок, в частности истории монгольского ига. «Татарщина», будучи «наказанием Божьим» (в данном случае, как это ни парадоксально, – наказание оказалось историческим Наказом о собирании и сбережении земель), повлияла на быт, образ жизни, психологию народа, его социальную организацию и государственное устройство, но одновременно, считали евразийцы, была нейтральной культурной средой, принимавшей всяких богов и терпевшей любые культуры.

Она «не замутила чистоты национального творчества».

Согласно их концепции, основу единства государственного устройства заложили монголы. «Евразийцы стали первыми русскими учеными, отказавшимися от концепции татаромонгольского ига... которая утвердилась в историографии еще со времен В.Н. Татищева и Н.М. Карамзина, то есть с окончательной победой русского западничества, и сие нисколько не удивительно. Ведь подлинным автором этой теории был статс-секретарь Стефан Батория Геберштейн» (Хаара-Даван Э. Чингиз хан как полководец и его наследие. Культурно-исторический очерк Монгольской империи 12-14 веков. – Алма-Ата: Крамдс – Ахмет Яссауи, 1992. – 272 с.).

Поэтому евразийцы пытались найти «третий путь» для России-Евразии, который П.Н. Савицкий сформулировал следующим образом: «Прежде всего укажем следующее: без «татарщины» не было бы России... в бытии до татарской Руси был элемент неустойчивости, склонность к деградации, которая ни к чему иному, как чужеземному игу, привести не могла. Велико счастье Руси, что в тот момент, когда в силу внутреннего разложения она должна была пасть, она досталась татарам, и никому другому. Татары – «нейтральная» культурная среда, принимавшая «всяческих богов» и терпевшая «любые культуры», пала на Русь как наказание Божье, но не замутила чистоты национального творчества. Если бы Русь досталась туркам, ее испытание было бы многожды труднее и доля – горше. Если

бы ее взял Запад, он вынул бы из нее душу». «Россия – наследница Великих Ханов, продолжательница дела Чингиза и Тимура, объединительница Азии» (Савицкий П.Н. Степь и оседлость // Мир России – Евразия: Антология. – М., 1995).

Между империями Чингисхана, Московским государством, Российской империей, СССР – как колоссальными обществено-политическими формами, которые существовали на огромном географическом пространстве Евразии, – существует органичная, несомненная и глубокая преемственность.

Кстати, обращаясь к реалиям сегодняшнего дня, можно сказать, что политическим преемником евразийской идеи современности стал Казахстан, хотя мы и не ставим знака равенства между идеями евразийства и Евразийского Союза, предложенного Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым. Тем не менее, «несомненно, что в основе евразийской идеи лежит концепция евразийства, которая демонстрирует явные исторические, этнические, географические, геополитические, экономические и иные основания интеграции стран постсоветского пространства, разумеется, с учетом многообразия стран и регионов его образующих. Поэтому обращение к идее евразийства является теоретически необходимым для обоснования той модели интеграции народов бывшего СССР, которая выдвинута и отчасти реализована Казахстаном, и является, на наш взгляд, весьма реалистичной и перспективной в ряду других концепций и моделей интеграции».

С другой стороны, академик Д.С. Лихачев, размышляя в «Заметках о русском» об утраченных чертах русского христианства и основываясь на подробнейшем изучении древней, новой и современной России, делает следующий вывод: «Россия есть доброта и свобода».

Простой, добрый русский человек сторонится зла: ему помогает воля, лежащая в основе русского пространства: он бежит на север, где основывает староверческие скиты, или на юг, где становится казаком. Народная любовь к нищим духом, юродивым во Христе, «бегунам», сектантам – одно из проявлений этой упрямой доброты».

Первая же реакция при взгляде из зарешеченного окоема русской истории и литературы 30-х годов на эти позднейшие размышления современного исследователя – ощущение же стокого несовпадения. Ведь известны же и плата староверов – сектантов за свои убеждения, и «упрямая доброта» казаков в «Соляном бунте» П. Васильева, «которых держали вместо дозорных собак».

О староверах же, укладе их жизни и нравах прекрасно написал в своих очерках «Река Уба и убинские люди» Г. Гребенщиков, выросший на той же алтайской земле, что и П. Васильев.

В то же время наблюдения Д. Лихачева, основанные на многолетнем изучении и осмыслении многовековой истории России на литературном прежде всего материале – от древнерусской литературы до современности, – своим итогом имеют выводы общего, философского характера, не затемненного теми или иными конкретными историческими периодами.

В одном из последних интервью он сказал почти просто: «Главное – это добро. И семья, миллионы которых и составляют общество и государство. И когда человек начинает понимать это – значит, он уже зрелый человек».

Поколение П. Васильева не успело «повзрослеть». Бездомность и культ силы стали основными характеристиками поэта и его эпохи, запечатленными и литературой той поры. Добро – как категория не только нравственная, но и эстетическая, а также семья – как основа бытийного и бытового существования человека и общества, только через полвека образуют философский фундамент деревенской прозы, может быть, основной, наряду с военной прозой, наследницей традиций русской классики, что можно рассматривать как один из главных итогов художественного развития ушедшего века.

Символический уход Толстого из дома, как уже отмечалось, стал как бы началом вынужденной традиции, когда эмиграция приобрела массовый характер, но в основе своей имела уже не столько нравственные убеждения, сколько политическую необходимость, связанную с угрозой для жизни.

Тем не менее советская литература – даже терминологически – до сих пор остается практически неделимой. Теперь принято называть ее русской литературой советского периода, что, наверное, точнее, хотя тоже звучит общо и к реальному постижению объективных характеристик ее развития и бытования не приближает. Также очевидно, что литература, по крайней мере довоенных десятилетий, в том числе и в 30-е годы, не была монолитной.

На исходе века возникла потребность и предприняты попытки различных классификаций. К примеру, в интересной статье В. Шубинского, символично названной «Семейный альбом» и имеющей подзаголовок – «заметки о советской поэзии классического периода», компактно и концептуально представлена картина развития русской литературы 1930-1950-х годов, которая, по мысли автора, «развивалась в трех, почти не сообщавшихся друг с другом руслах».

Во-первых, это внешняя эмиграция. Два других – эмиграция внутренняя и советская литература.

Творчество П. Васильева заслужило большого отзова в статье и было отнесено к «внутренней» эмиграции: «Горький сказал о Васильеве – «от хулиганства один шаг до фашизма». Не от хулиганства, конечно, а от культа Силы...

Васильеву не нужно было уходить в поисках Силы в большевистскую бездомность. Сила была у него дома, в казачьем Прииртышье. Свои отношения с этой силой он выяснил «Соляным бунтом» – одним из немногих в русской поэзии 20 века примеров подлинного эпоса...

Гришка Босой убивает вместо девушки-казашки своего атамана не из классовой солидарности... а потому, что в жилах иртышских казаков издавна течет казахская кровь, «слишком красная, чтобы смешаться с иной». Кровь не отвергается, она равносильна жизни, она связывает противников, а противопоставляется ей не дух, а соль – символ смерти, разделяющий «братские» (почти одноименные!) народы.

Крепости и жестокости казачьего быта противостоит не романтическая революционная безытность, а традиционный кочевой мир, связанный с кровью и почвой еще неразрывнее. В конечном итоге синтез порождает новую нацию: поэма Васильева именно об этом. «Соляной бунт» понятен в контексте сибирского «областничества», довольно сильного в 20-е годы. Центробежные тенденции той поры (конечно, вызванные к жизни революцией), выразившиеся на стилистическом уровне в орнаментальной прозе и поэтических вещах типа «Уляялевщины», здесь (как и в более раннем «Азиате») выражены с идеологической отчетливостью и прямоотой. В 30-е годы, когда в государстве и в его языке возобладали тенденции центростремительные, а индустриализация и коллективизация предрекали конец любому традиционному быту, Васильев должен был ощущать себя скорее побежденным, чем победителем.

Суждение современного критика, свободное от идеологических клише и табу, представляется не только точным, но и самое важное – глубоким, что в данном случае принципиально, так как коренным образом меняет сами подходы и критерии в анализе и оценках поэзии Васильева, которого долгие годы оценивали в жесткой, двухмерной системе: советский – несоветский или советской – русский поэт.

В данном случае речь не идет о том, советский ли поэт Васильев или несоветский, и даже не о том, что его можно назвать русским, но не советским все-таки поэтом.

Павел Васильев – поэт «новой нации». Таким образом, прямо заявлена проблема творческой индивидуальности поэта, самобытности его творчества, решение которой, безусловно, будет способствовать преодолению многолетних критических напластований, скрывающих истинную природу его дарования.

Понятно, что подлинное искусство не может быть ограничено тематически, но в данном случае существует объективная необходимость обращения к особенностям мировосприятия, сформированного довольно необычным жизненным багажом художника.

Павел Васильев пришел в литературу с совершенно уникальным опытом, накопленным иртышской вольницей и органично впитанным поэтом благодаря своему «казахскому» детству. Он пришел из Великой Степи – мира, который принято называть евразийским.

В то же время представляется необходимым и даже принципиальным следующее обстоятельство: определение опыта Васильева как уникального справедливо в большей степени, и даже – прежде всего по отношению к опыту русской литературы 19 века, которая осваивала Великую Степь, так сказать, профессионально и опосредованно, тогда как непосредственная среда, в которой формировались характеры и накапливался опыт таких писателей, как Г. Гребенщиков или Вс. Иванов, был вполне сопоставим и адекватен, так как они пришли в большую литературу, воспитанные тем же укладом и традициями, что и Павел Васильев, у которого, в силу особенностей его дарования, «азиатская закваска» оказалась наиболее концентрированной.

По словам поэта и литературоведа В. Сорокина, «он не вошел, а ворвался в поэзию, как

влетел на разгоряченном коне. Казалось, в нем соединилось два древних ветра – русский и азиатский, две доли – русская и азиатская, коснулись крылом друг друга два материка – Европа и Азия. Мятежность, буйство, тоска, переходящая в страдание, в скорбь, это возвращение к звездным скифским далям, к думам вечным: Кто я? Что я?..»

Эта мысль получает свое подтверждение и со стороны ведущих казахских поэтов и ученых: так, по мысли Б. Канапьянова, «настоящие стихи не имеют географической прописки. Родившись однажды, они по принципу цепной реакции поэзии распространяются по стране и миру. Но их внутреннее содержание всегда заполнено энергией и той сутью, которые характерны для жизни и родины поэта.

С появлением Павла Васильева, я бы сказал, впервые в оригинале, минуя переводческие издержки, в русскую поэзию вторглись образы казахской степи. И вместе с ними сама Азия.

С каким изяществом и бережным отношением к традициям казахского фольклора создана Павлом Васильевым «Песня о Серке»! Павел Васильев первый среди русских поэтов обратился к поэтическому фольклору казахов – циклы «Песни киргиз-казахов», «Стихи Мухана Башметова», кзыл-ординские и павлодарские самоклады.

Географический путь жизни Павла Васильева протянулся от Владивостока до Белокаменной Москвы. И этот путь не обогнул «родительницу – степь», а, наоборот, пролегал сквозь громадное пространство, вобрав в себя казахские просторы от Черного Иртыша до Урала.

Очень выразительна и характеристика выдающегося казахского литературоведа М. Каратаева: «Можно смело утверждать, – пишет он, – что казахская действительность занимает видное место в поэзии Павла Васильева. Так, скажем, нет почти ни одного казахского города, который не был бы им охвачен в лоне его поэзии. Здесь и «затаивший звонкость» Зайсан, и «ястребинный» Павлодар, и Кустанай, и Караганда, и Семипалатинск с Усть-Каменогорском, Алма-Ата и Туркестан, Актюбинск и Атбасар... Нет почти ни одной крупной реки или озера, ни одной знаменательной местности в республике, которые не стали бы объектами отражения в его творчестве. Здесь и «отливающий серебром» Иртыш, и «самое синее из морей» – Арал, и «тигриный» Балхаш, Куянды, Бухтарма, Ишим, Каркаралы, Кзылкум...»

Уместное употребление многих казахских слов и имен, безусловно, придают густую окраску всей поэзии П. Васильева, дышавшего воздухом родной степи и народной жизни Казахстана. Весьма символично, что в своих литературных мистификациях поэт избрал псевдонимом именно казахское имя Мухаша Башметова...

Прикосновение к художественному наследию Павла Васильева... убеждает в исключительности его самобытного дарования, прочно связанного с отчей казахской землей».

Обобщая сказанное, можно привести слова одного из исследователей творчества Павла Васильева: «Он первым ввел Казахстан в большую русскую поэзию».

Учитывая, что сам термин «евразийство», широко распространившийся в общественно-политической жизни, особенно в последние годы, приобрел тем самым особую научную актуальность и объективно нуждается в детальном обосновании: как литературном, так и историко-философском.

«Кажется, пришло время по-новому взглянуть на философское течение, сплотившее в эмиграции часть русской университетской профессуры, – на евразийство, – пишет Ж. Нива, символично назвав эту главу своей книги «Азиатская сторона России». – Оставаясь пока сравнительно малоизученным, оно может многое объяснить; и потом – несомненно, близок час, когда Россия в поисках иных, чем большевистские, идеологических и нравственных традиций откроет для себя эту философскую школу».

В нашем же случае можно с уверенностью утверждать, что «русский азиат» Павел Васильев – как явление литературы – был «подготовлен» всем ходом развития отношений двух народов в течение нескольких веков.

* * *

Официальная история взаимоотношений России и Казахстана берет свое начало в конце 17 – начале 18 веков и связана с царствованием Петра I, который уделял значительное внимание вопросам присоединения Казахстана к России. Сведения, свидетельствующие о глубоком интересе Петра I к русско-казахским взаимоотношениям, содержат в себе записи М. Тевкелева,

принявшего от лица русской администрации (1731 г.) присягу казахов Младшего жуза на подданство России.

Нужно отметить, что этому документу, по существу, политическому событию, но имеющему также громадное историко-культурное значение и перспективу, предшествовала многолетняя подготовительная работа, свидетельствующая о значительном взаимном интересе наиболее прогрессивных деятелей двух народов к сближению.

Так, незадолго до своей смерти, в 1722 году Петр I вновь обращал внимание М. Тевкелева на «потребность» России иметь протекцию над казахским народом, так как казахские степи «токмо-де всем азиатским странам и землям... ключ и врата...», чтобы только чрез их во всех Азиатских странах коммуникация иметь и к Российской стороне полезные и способные меры взять».

Можно сказать, что Петр I не только «в Европу прорубил окно», но и сделал все, что успел, чтобы Азия тоже пришла в Россию.

Если проследить взаимоотношения России со Средней Азией и Казахстаном после смерти Петра I, то вплоть до воцарения Анны Ивановны они находились на втором плане внешней политики русской державы. «Однако ситуация, сложившаяся в казахской степи в результате частых опустошительных набегов джунгар, а также раздор внутри страны толкали казахов к необходимости добровольного принятия русского подданства», – пишет К. Канафиева в своей очень детальной и научно-выверенной работе, посвященной истории русско-казахских литературных связей и до сих пор не только не утратившей своего научного значения, но и, безусловно, являющейся надежным фундаментом для дальнейшего исследования проблем, особенно актуальных с учетом новейшей истории. «Стремление казахов жить в мире и дружбе с русским народом особенно ярко проявилось в начале 18 века. Так, русский посол Б. Брянцев, побывавший в 1718 г. в ауле хана Абулхаира, доносил: «Казахского народа все люди говорят, что-де с людьми русского народа быть в мире всегда они желают».

Нерасторопность русского правительства и государственная волокита были не единственными причинами медленной реализации этого, несомненно, исторического проекта. «Стремлению народа жить в мире с Россией пытались противодействовать некоторые казахские феодалы. Об этом, в частности, свидетельствовал Б. Брянцев: «Буде Хаип хан хочет ссоритца, – говорили ему казахи, – мы-де с людьми его царского величества ссоритца никогда не будем и Хаип хана в том не слушаем» (там же, с. 149).

Тем не менее вопрос о присоединении Казахстана к России в начале 18 века стоял особенно остро. «Дело в том, что в конце 17 и начале 18 века казахи подвергались нападению соседних государств: на кочевья Младшего жуза совершали разорительные набеги волжские калмыки; башкирские феодалы теснили казахов с обжитых районов северо-запада; реакционные бухарские и хивинские ханства пытались отторгнуть торгово-ремесленные центры, расположенные в долине Сыр-Дарьи. Но наиболее грозным противником являлась военно-феодалная Джунгария, которая часто совершала разорительные нашествия на казахские земли» (там же, с. 39).

Благодаря твердости и настойчивости хана Абулхаира и его последовательной политике в начале 1731 года Младший жуз принял подданство России, царицей была подписана жалованная грамота.

Стремление хана Абулхаира добиться «протекции» России объяснялось многими причинами и внутреннего характера, среди которых можно указать на рост внутренней раздробленности в казахской степи, связанной со стремлением отдельных султанов (Барак, Абулмамбет, Батыр) из личных интересов стать подданными Джунгарии или Хивы, так и на возможность новых нашествий калмыков, джунгар, хивинцев и др.

Абулхаир объяснял своему народу, что другого выхода нет, и только принятие русского подданства объединит казахов и избавит их от нападений жестоких завоевателей – джунгар. Ему были ясны не только политические и военные выгоды этого подданства, но и положительные экономические последствия.

«...В конце 1731 года хан Среднего жуза Семеке (Шемяка) также принял русское подданство. Однако большая часть Среднего жуза (северо-восточные районы), где правили Абулмамбет и Аблай, не признала русского подданства.

И только благодаря известным дипломатическим способностям Тевкелеву удалось успешно выполнить свою миссию и принять присягу от Младшего и части Средних жузов... В 1733

году Тевкелев выехал в Петербург для переговоров о постройке крепости в устье реки Ори (нынешний Оренбург. – ПЛ).

В начале 1734 года русский посол Тевкелев с ханским сыном и с казахскими старейшинами прибыл в Петербург, где Ерали в торжественной обстановке передал императрице Анне Ивановне желание казахского народа быть подданными России.

...В Петербурге безразлично (! – ПЛ) радовались добровольному присоединению Младшей «орды», помня неосуществленные планы Петра I в отношении казахских степей».

Нужно подчеркнуть, что дальнейшая, уже собственно практическая работа носила гораздо более организованный и системный характер. Российское правительство, не удовлетворяясь разрозненными и отрывочными сведениями о казахской степи, организовало специальные экспедиции для тщательного знакомства с новыми землями. Первая экспедиция, получившая потом название Оренбургской, состоялась в том же 1734 году.

Советник И.К. Кириллов, известный своими географическими работами и собравший богатейший материал об Азии, стал руководителем экспедиции. Нужно отметить, что после подписания договора практическая работа уже скрупулезно планировалась. Руководитель экспедиции представил Кабинету министров два проекта о форме управления и необходимости закладки и постройке города, о политической и финансовой выгодах, которые можно извлечь от казахских степей.

После утверждения проектов и назначения их автора исполнителем был определен состав экспедиции, численность и качество которого тоже достаточно красноречивы. Среди членов экспедиции были инженеры, геодезисты, морские офицеры с мастерами и матросами, горные чиновники, артиллеристы, историограф, ботаник, аптекарь, живописец, лекарь, студенты славяно-латинской школы, многие другие чиновники и регулярные войска.

Не менее красноречива инструкция, полученная И.К. Кирилловым. В этом главном документе были перечислены следующие вопросы:

Построить город с крепостью при устье реки Ори;

Разослать грамоты императрицы Абулхаиру, Семеке (Шемяке), родоначальникам Большого жуза и каракалпакскому хану. Всех ханов и родовых правителей пригласить на принятие присяги, а от Большого и Среднего жузов потребовать присяги...;

Удерживать народ в повиновении, смотря по обстоятельствам (милостями и подарками или строгостью и страхом);

Если Абулхаир и другие ханы и простые казахи захотят кочевать близ нового города (Оренбурга. – КК), то назначить им соответствующие места; если ханы пожелают иметь дома для приезда или жития – строить по их обычаю. Не отказывать в построении мечетей...;

Реку Яик назначить границей и смотреть, чтобы никто из киргизов своевольно на правый берег не переходил;

Для разбирательств тяжб учредить суд из русских чиновников и богатых («значительнейших») казахов.

Показателен и один из пунктов инструкции, где И.К. Кириллову было указано надзирать за башкирами и казахами и «если же те или другие будут волноваться, то употреблять один народ против другого, сберегая русское войско».

Казалось бы, вот он – великорусский стандарт национальной политики, по крайней мере, трудно удержаться от нравственных сценок подобной «политики». Но также необходимо в данном случае помнить о конкретных исторических реалиях того времени (без современных скороспелых идеологических ярлыков), ибо только в контексте эпохи можно приблизиться к пониманию ее законов.

«Действительно, – комментирует ситуацию К. Канафиева, – Абулхаир уже в 1737 году по указанию правительства участвовал в «усмирении» башкир, а его сын Нуралы – в погоне за калмыками.

Участие Абулхаира в подавлении восстания в Башкирии объяснялось не только выполнением воли царской администрации, но и стремлением хана воспользоваться сложившейся ситуацией и распространить свою власть и на башкирский народ. Как отмечает П.И. Рычков, в конце 1737 г. Абулхаир в сопровождении казахских старейшин приехал в Башкирию «под видом того, аки бы оный народ от их замешания удержать и успокоить, в самом же вещи, как то после явно учинилось, искал сего, чтоб одного из детей своих в Башкирии ханом учинить,

обнадеживая башкирский народ, что один в состоянии всему башкирскому народу у ея и. (императорского) в. (величества) упросить всемилоостивейшее прощение, и за то обирал от них многие подарки» (Ист. Каз. ССР, т. 1, с. 258).

В связи с политической царизма натравливать один народ против другого можно указать и на следующие исторические события. В 1742-1743 годах между ханом Младшего жуза Абулхайром и правителем Оренбургского края Неплюевым произошел инцидент на почве аманата. В Оренбурге в качестве аманата находился родной сын Абулхайра Ходжа Ахмед, которого хан просил обменять на своего побочного сына Чингиза. Однако губернатор И.И. Неплюев отказал в просьбе хану. Это вызвало резкое недовольство Абулхайра. (Кроме этого, были и другие причины. – ПЛ)

Инцидент имел серьезные последствия для русско-казахских отношений. Так, кочевники, по «наущению» султана Дербешалия, стали совершать набеги на русские линии. В 1744 году они ограбили русские караваны, а также задержали поручика Гладышева, направляющегося к караванам.

Многие набеги казахов на русские пограничные линии были вызваны местью за жестокие «воинские поиски», когда казаки захватывали в плен неповинных людей, а также частыми нападениями из-за русских линий башкир и калмыков. В то же время необходимо отметить, что подобные инциденты не были стычками только частного характера. В 1779 году Екатерина II особым рескриптом на имя Оренбургского губернатора разрешила войскам преследовать казахов, захватывать в плен и т.д. Таким образом, сама императрица разрешала воинские походы в казахские степи, что, таким образом, составляло часть царской политики.

Отмеченные же инциденты были использованы царским правительством для «наказания» казахов. В апреле 1774 года наместник хана волжских калмыков Джундук-Даш получил правительственную грамоту с предписанием собрать большую вооруженную силу и, получив в Астрахани порох и свинец, идти против казахов. Неплюев разрешал калмыкам взять всю добычу от ограблений казахов в свою пользу. Однако в связи с возникшей опасностью войны с джунгарами проект не был доведен до конца, но теперь Неплюев стал «склонять» уже казахов «к набегам на зюнгаров». (Здесь речь шла о волжских калмыках. – К.К.)»

* * *

Примеры можно множить, но и этих достаточно для того, чтобы убедиться, что так называемая государственная целесообразность в подавляющем большинстве случаев не совпадала и не могла совпасть с интересами «народной дипломатии» как с русской, так и с казахской стороны. История сближения и объединения двух народов заслуживает отдельного разговора, но то, что это сближение было естественным и объективным, многократно подтверждено историей.

Причем не последняя роль в сближении двух народов принадлежит именно литературе, и в этом смысле у Павла Васильева была хорошая «литературная родословная», а у литературного 20 века – уже сложившаяся традиция творческих взаимоотношений двух культур.

Казахстан – родина П. Васильева, и вышеприведенное историческое «отступление» позволяет действительно достаточно отчетливо представить истоки и судьбы, и творчества поэта, выросшего на пограничной «меже», где всего за полтора-два века до его рождения происходили глубинные и сложнейшие процессы «слияния» двух гигантских этнических материков, двух народов и цивилизаций.

П. Васильев не случайно испытывал огромный интерес к истории, интерес, во многом интуитивный, видимо, по двум основным причинам: во-первых, социально-исторической (самой судьбой приведенный в мир «в его минуты роковые») и, во-вторых, в силу особенностей своего характера и места рождения.

Исследователи неоднократно подчеркивали жестокость художественного мира поэта (о чем уже шла речь), и в то же время приведенные исторические примеры дают возможность хотя бы отчасти представить мир и нравы его колыбели – Великой Степи. Позиция поэта в расстановке исторических сил в его поэмах «Соляной бунт» и «Песня о гибели казахского войска» чрезвычайно показательна и органична для него. Это пусть жестокий, но родной для него мир. Он почувствует это особенно остро в «чужой» Москве.

* * *

В 1934 году, когда в очередной раз тучи сгустились над буйной головой Павла Васильева, Иван Гронский, до конца пытавшийся спасти молодого поэта и ввести его бурную азиатскую стихию в мирное русло, организовал вечер, посвященный творчеству поэта. Стенограмма вечера, опубликованная в «Новом мире», настолько ярко характеризует литературный «террариум» той эпохи, что «заслуживает» того, чтобы воспроизвести ее полностью.

СТЕНОГРАММА

вечера, посвященного творчеству Павла Васильева
(Новый мир, 1932, № 6)

Председатель **Ф.В.Гладков.**

К.Зелинский: «Можно, конечно, сказать Васильеву, что он талантлив, что поэзия его интересна. Но этого мало. Нам не нужны комплименты. Я думаю, что нам сегодня нужно попытаться (и для него, и для себя) разобраться по существу, что же его поэзия в целом представляет. Поэзия Васильева очень органична, не только по своей тематике, но и в своих образах и по материалу. Если искать, что же стоит за этой поэзией, то чувствуешь, что за ней стоит богатая казачья деревня, богатый сибирский мужик...

«Соляной бунт». Эта вещь должна сегодня стоять в центре нашего обсуждения. С одной стороны, мы имеем как будто отчетливое желание самого Васильева изобразить какую-то борьбу беднейших слоев, борьбу бедняков-киргизов против казачьего кулачества. А с другой стороны, во всем оснащении этой вещи еще поет и говорит старая кулацкая деревня. В самом последнем стихотворении, которое прочел Васильев, интересном стихотворении, совершенно недвусмысленно говорится: я по эту сторону баррикад. Это стихотворение есть по существу новая платформа Васильева. Но возьмите большую поэму «Соляной бунт». Разве вы не чувствуете, что Васильеву гораздо лучше удаются те места, где он изображает казаков?! Это получается у него ярко, смачно, а киргизы бледны, киргизы не удаются.

Они не заявляют о себе в поэме, а лопочут, они безлики. Казаки, в частности, казак Меньшиков – очень яркая казачья фигура. Она здорово вылеплена. А киргизы изображены действительно, как голь. Эта голь не имеет настоящего психологического лица. Это основной изъян «Соляного бунта». Далее. Все образное наполнение идет от идеалов богатого казачества. Говорят, Васильев – крестьянский поэт, что он упирается корнями в сказку, в песню, в народные представления и т.д. Этого мало. Есенин тоже корнями уходил в «крестьянскую толщу», но Есенин был упадочным поэтом. Васильев не упадочен. Это – поэт большого оптимистического напора, и с этой стороны он может подходить к нам. (Безапельляционный тон оракула! – П.П.) Васильев – поэт, который в каждой строчке любит жизнь, хочет жизни, чувствует ее вкус. Но все-таки? Что стоит за этим оптимизмом? Можно ли сказать, что это наш оптимизм – оптимизм пролетарской страны? Этого нельзя сказать. Я думаю, что это оптимизм образного порядка, который идет от восхищения перед «сытой деревней» (это произнесено в 1934 году, когда «сытая деревня» уже заплатила десятками миллионов жертв за дикий голод сталинской коллективизации. – П.П.), с ее лебедиными подушками, грудастыми бабами и коваными сундуками. У Васильева есть элементы не только настоящей народной поэзии, но псевдонародной, в сусальном представлении великодержавной России: баба в расписном сарафане. Все эти элементы псевдонародности есть у Васильева... В его поэзии есть органические элементы, которые связывают его со старой, уходящей деревней... В самой поэзии Васильева есть элементы, которые несомненно приходят в противоречие с нашим советским строительством, и мы должны помочь резкой критикой Васильеву от них отделаться.

В «Соляном бунте» все-таки есть здоровое начало, на которое он может сам же опереться и которое позволит в дальнейшем ему развиваться в настоящего советского поэта.

Е.Усиевич: (Считает его не поэтом деревни, а поэтом казачества, «базы колонизаторской политики русского царизма и фундаментом, на котором во время гражданской войны выросла анненковщина».)

Чуждая нам идеология прет из него произвольно, значит, это то, что он впитал в себя с

детства и не так-то легко ему самому осознать, что получается, когда он, как ему кажется, поет естественно, как птица.

Для того чтобы Васильев сам мог перестроиться, для того чтобы его творчество не давало права наиболее реакционным элементам в нашей литературе уповать, что он поднимет их понижая знамя, для этого прежде всего Васильев должен понять не только то, что наша критика, наша общественность считает его чужаком, он должен осознать, чью идеологию выражает он... Прежде Васильев не различал кулака от мужика. Пожалуй, ему казалось, что и творчество некоторых поэтов, которых мы признаем кулацкими и которых он считал крестьянскими, — что творчество их идет в защиту мужика... Надо думать, Васильев поймет и то, кого поддерживает своим творчеством, хотя бы они этого или не хотят, мнимо-крестьянские поэты. И когда Васильев доведет все это до своего сознания, тогда, надо надеяться, у него произойдет серьезным образом перестройка.

И.Гронский: ...Возьмите творчество Клюева, Клычкова и Павла Васильева за последние годы. Что из себя представляет это творчество? Каким социальным силам оно служило? Оно служило контрреволюции...

Павел Васильев вырос во время революции. Творчество его развивалось во время революции: казалось бы, он имеет все данные и все возможности для того, чтобы развернуться в достаточно крупного художника революции. Однако мы этого не видим. В чем дело? Я думаю, что дело заключается в том, что в воспитании Васильева мы проявили некоторое благодушие, **мы над ним не работали.** И, представленный этим людям, Васильев развился не в сторону революции, а в сторону контрреволюции. Сейчас, поскольку мы все это вскрыли, и вскрыли до дна, нужно взяться и поработать над Васильевым, еще молодым поэтом, и перетянуть его в лагерь революции. Это задача нашей критики...

Думаю, что он выкарабкается из болота и сделается революционным поэтом. «Соляной бунт», первую часть которой он здесь прочитал, еще под большим влиянием Клюева и Клычкова. Тот же квасной национализм, то же любование прошлым, то же расписывание яркими красками этого прошлого... Думаю, что до тех пор, пока Васильев не научится ненавидеть и презирать этих людей и клеймить их позором, он не пойдет дальше. Любование прошлым, несмотря на все его благие намерения, будет тащить его к прошлому, к крепостничеству. Правда, в «Соляном бунте» прорываются и революционные нотки. Когда Васильев пишет о полах, он пытается показать их живодерство. Но эти революционные нотки заглушаются другими мотивами. Заметьте, когда Васильев говорит о киргизах, о том, что женщины бросают детей под ноги казацких лошадей, у него не хватает голоса, не хватает дыхания, не хватает красок, чтоб заклеить палачей. Почему? Потому что он не любит массы угнетенных киргизов, которые в своей ненависти, в стремлении бороться с поработителями жертвуют самым дорогим для них — жертвуют своими детьми.

П.Васильев: Это все будет во второй части.

И.Гронский: О второй части мы не можем сейчас говорить, мы предпочитаем разбирать то, что нам дано, а не то, что будет... (Далее о колебаниях поэта перед чтением стихотворения «Враги народа» — и вывод: «А Васильев колебался: прочитать или не прочитать стихотворение? Представляете себе, как он будет колебаться, когда начнется драка?!») Так вот, Васильев, если хочешь быть поэтом своего народа, поэтом рабочих и крестьян, порви всякие связи с прошлым и шагай в будущее без всякой оглядки.

И.Нусинов: (о влиянии Клычкова на творчество Васильева). Все это упоение «аржанным», «избяным», «бревенчатым» старо, скучно и никого не трогает... Пастернак испугался, кажется, что перестройка Васильева обрекает на уничтожение его своеобразной системы образов, его своеобразной ритмики и т.д. Я думаю, что это означает лишь иное использование и иное освещение материала, которое только обогатит Васильева.

Перед Васильевым дилемма: или, поняв и усвоив опыт страны, подняться художественно над Клюевым, или, оставаясь в идейном плену у Клюева, стать эпигоном в поэзии и анекдотически запоздалым провинциальным десятым изданием Есенина в быту.

П.Васильев: Здесь говорили, что Клычков особенно на меня влиял, что я был у Клычкова на поводу, что я овечка. Достаточно сказать, что окраска моего творчества очень отличается от клычковской, а тем более — от клюевской. Я сам хорош гусь в этом отношении. Вообще, если говорить о крестьянских поэтах, а таковые все-таки существовали и существуют, — то надо сказать, что, хотя Клычков и Клюев на меня не влияли, у нас во многих отношениях родная

кровь. И все мы ребята такого сорта, на которых влиять очень трудно. Это блестяще доказал Клычков, особенно Клюев. Тут – советское строительство, а с Клычкова, как с гуся вода. Мне грустно признаться, но это советское строительство и на меня очень мало повлияло. Я должен прямо сказать об этом. Пастернак здесь сказал, что самое главное у поэта – это его стержень, что крестьянский поэт будет сам перестраиваться, самотеком. Это неправильно, у нас на глазах есть два примера. Первый – Николай Алексеевич Клюев. Вы, Пастернак, не будете отрицать, что он сам очень большой поэт. И другой поэт, талант которого едва ли будете отрицать, – это Маяковский. Разве Маяковский не пришел к революции, и разве Клюев не остался до сих пор ярким врагом революции?

Присмотримся к времени, которое мы переживаем. Сейчас в той же Германии фашисты устраивают еврейские погромы, в самой нашей стране тут и там орудует враг. Теперь ни один поэт и вообще поэзия не может не быть связана с политикой. Теперь выступать против революции и не выступать активно с революцией – это значит активно работать с фашистами, кулаками, о которых сейчас говорили. У нас с Сергеем в последнее время был разговор, что нужно решительно выбирать – за или против. Я считаю, что у Клычкова только два пути: или к Клюеву, или в революцию. Сейчас Сергей выглядит бледным, потому что он боится, что его не поймут, его побьют и т.д. Но, к сожалению, должен сказать, что я желаю такого избиения камнями. Клычков в любом месте развернет свою пространную, путаную философию, он поражается тому, что на него смотрят, как на чертополох. Но ты, Сергей, сам активно помогал этому. Я глубоко уверен, что у тебя было много примеров, где ты мог со всей определенностью высказаться за революцию. Клычков должен сказать, что он на самом деле служил, по существу, делу контрреволюции, потому что для художника молчать и не выступать с революцией – значит выступать против революции.

С.Клычков: Это политиканство.

П.Васильев: Ты имеешь право назвать меня политиканом, но твои слова никого не убедят.

С.Клычков: Нужны не слова, а дела.

П.Васильев: Я допускаю, что молча, под полой, ты пишешь колхозный роман. Нужно высказаться со всей резкостью. Если ты не выскажешься, если ты не скажешь, что с революцией, тогда ты не называй меня своей надеждой – и мы с тобой не пойдем, нам с тобой не по дороге, тогда иди к Клюеву, к его лампадке. Я хочу сказать о «Соляном бунте», потому что перед этим я написал «Песню». Там материал владеет мной, и этот материал я не преодолел. В «Соляном бунте» я хотел развернуть картину того, на чем жили казаки и на чем основано их сытое довольство. Я хотел изобразить казаков, которые действительно жили сытой жизнью, которые ходили в шелках, и им в противовес голых, голодных киргизов. Я считаю, кроме того, что это произведение на национальную тему. Я заверяю, что в дальнейшем я буду орудовать не словами, а своими произведениями.

* * *

Это обсуждение – какая-то страшная «каша с кровью» – дикая, плохо переваренная смесь из идеологии, истории, социологии, патологии, не имеющей ничего общего с художественным словом и выполняемая людьми, напоминающими школьников, плохо выучивших урок и выполняющих задание почти из-под палки, – производит гнетущее впечатление и, наверное, не нуждается в комментариях: всем нам хорошо знакомы и памятны универсальные методы безотказной идеологической машины...

(Кстати, наше современное восприятие, казалось бы, еще совсем недавней истории тоже напоминает это страшное блюдо – настолько перемешаны в головах реальные и мнимые события, оценки, поступки, что эти историко-мифические обрывки, видимо, не скоро обретут стройность выстраданного убеждения и уж, тем более, не скоро придут способность и решимость к осознанному поступкам.)

Что касается Павла Васильева, то он, разумеется, не был, да и не мог быть услышан. Он защищается, тоже не стесняясь в выборе средств, в смеси отчаяния и циничного расчета пытаясь подыграть своим пока только идеологическим судьям и отказываясь от своих духовных учителей.

Вообще, учитывая тот кошмар, который его ждет впереди, уже в ближайшие годы, не считаю возможным давать какие-либо оценки нравственного или любого другого характера. Возможности человека (физические, психические) не беспредельны – «век-володав» доказал эту аксиому многократно, на миллионах судеб. В архиве Дома-музея поэта в Павлодаре хранится письмо человека, сидевшего с Васильевым в одной камере в его последний арест. Он пишет о том, как вечером открылась дверь и в камеру вбросили человека, который был буквально истерзан. Автор письма подробно описал его состояние. Не буду повторять этого страшного описания, но мне стало понятно, почему на допросах Павел Васильев (а это был он) оговорил всех, кого пожелал назвать живодер-следователь и почему на последних протоколах допросов вместо подписи он ставил крест – на большее он был просто физически не способен.

* * *

Кстати, если проводить аналогии, то, наверное, можно сказать, что культурной экспансии царской России как государственной политики в Казахстане не было. Чего не скажешь о советской идеологической экспансии, которая накрыла все культурное пространство бывшей империи, когда слово «национальный» в лучшем случае воспринималось синонимом слову «реакционный», в худшем – «контрреволюционный».

Не случайно первыми репрессиям были подвергнуты поэты с ярко выраженным национальным колоритом (так называемые крестьянские поэты – в России, сходные процессы происходили и в национальных республиках). Все, что так или иначе было связано с национальной культурой, – безжалостно уничтожалось.

Тем более не имела права на существование творческая индивидуальность. Талант Васильева никто не отрицал, но его дар трагически не совпадал с маршевыми ритмами эпохи. Говоря о таланте Васильева, необходимо иметь в виду, может быть в первую очередь, даже не столько масштаб и силу дарования, сколько – его самобытность, которая, в конечном счете, и определила общий характер и значимость поэзии Васильева, а вместе с ними и судьбу поэта.

Ни в коей мере не противопоставляя поэтическую одаренность самобытности, можно тем не менее вспомнить Н. Некрасова, утверждавшего в сложный для русской поэзии период середины 19 века: «...Поэтический талант, хоть и не обширный, лишь бы самостоятельный, стоит десяти талантов повествовательных, потому что такие таланты редки во всех литературах».

Статья Н. Некрасова «Русские второстепенные поэты» положила начало походу журнала «Современник» в поэзию и за поэзией – и стала тонким предощущением нового подъема поэзии в русской литературе второй половины 19 века, связанного, кроме самого Некрасова, прежде всего с именами Тютчева и Фета.

В этом смысле самобытность таланта – органичное евразийство – Васильева, очевидная для всех (вне зависимости от отношения к нему), тем не менее не стала ключом для постижения его творческой судьбы. Она не была принята во внимание ни современниками (достаточно еще раз вспомнить обсуждение «Соляного бунта» в редакции «Нового мира», где все свелось к банально-классовым проблемам, хотя Васильев совершенно определенно говорил о том, что это «произведение на национальную тему»), ни потом, после политической реабилитации, когда критика стремилась в лучшем случае – доказать его советскость, в худшем – контрреволюционность.

Главное ускользало, потому что это явление – евразийство, – уникальный художественный опыт 20 века, не только не было исследовано, но и не получило научного признания. Поверхностный социально-идеологический постулат о многонациональной братской советской литературе не имел научно-психологического развития и постижения, что, в свою очередь, не означает огульного отрицания всей литературы этого периода (что уже пытаются делать современные идеологические чистильщики с короткой памятью и длинными амбициями), но тем не менее предполагает значительную коррекцию основных подходов в исследовании ушедшей эпохи.

В данном контексте принципиальным представляется вопрос о литературе 30-х годов, которая явилась своеобразным водоразделом между русской классической и русской советской литературой. Это связано с целым рядом причин как исторического характера (приход в лите-

ратуру нового поколения уже собственно советских писателей), так и репрессивно-карательных мер, призванных форсировать естественные процессы смены поколений.

В свою очередь, вопрос о литературе 30-х годов (с учетом вышесказанного, это и вопрос о русской литературе 20 века вообще) не может быть разрешен также без обращения к прошлому (дореволюционному) и будущему (нашей современности, которая сама является одним большим вопросом и может быть более или менее понята только в контексте развития литературы предшествующих десятилетий и 30-х годов прежде всего).

Существует распространенная точка зрения о том, что поэзия этого периода носила тотально-разрушительный характер, коверкающий талант и душу, особенно молодых поэтов, не имевших даже малейших шансов для творческого самовыражения. К примеру, по версии Шубинского, «русская литература 1930-1950-х годов развивалась в трех, почти не сообщавшихся друг с другом руслах. В последние годы больше всего работ посвящалось тому из них, которое до сих пор было почти полностью закрыто, – «внешней» эмиграции. Два других – эмиграция «внутренняя» и советская литература...

Сталинская эпоха, классическая советская эпоха, по мере удаления от нас становится все менее понятной и потому – все менее подсудной...

Сегодня политики и публицисты, левые и правые, в любом случае имеют дело не с реальным советским прошлым, а с мифами о нем. Реальность же ускользает, она все менее постижима, потому что в принципе не была рассчитана на взгляд извне.

Единственный способ хоть что-то понять в русской литературе советского периода – рассмотреть ее как наше частное, семейное дело... При таком подходе нелепа прокурорская позиция, но и отделить тексты от литературного и жизненного поведения не выходит, а уж предать забвению неприятные эпизоды – тем более (в конце концов, мы за все это пока еще в ответе).

В любом случае этот узел, видимо, одним ударом разрубить не удастся. Его нужно распутывать, не жалея для этого ни сил, ни времени. Первое впечатление: сочетание героизма и подлости – беспрецедентное. Часто почти по Достоевскому – в пределах одной души. При том, что степень давления на одну, отдельно взятую душу – была беспрецедентной.

Это время формирования творческого союза советских писателей, которое завершится официальной государственной акцией – созданием Союза писателей. Сохранились свидетельства очевидцев, связанные с ролью А. Горького в судьбе русской литературы 20 века и в судьбе П. Васильева, в частности.

В начале 30-х годов (14 июня 1934 года) появилась (причем сразу в нескольких центральных газетах) статья Горького «О литературных забавах». Сейчас трудно сказать, «по согласию» ли дал себя использовать писатель, но, учитывая жесточайший торг, который шел в это время за право быть «идейным и духовным» вдохновителем советских писателей, можно допустить многое.

Не был «забыт» в статье и Павел Васильев: «Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время как одни порицают хулигана – другие восхищаются его даровитостью, «широтой натуры», его «кондовой мужицкой силищей» и т.д. Но порицающие ничего не делают для того, чтобы обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует **как-то изолировать** (выделено мной. – П.П.). Вывод отсюда ясен: и те и другие одинаково социально пассивны, и те и другие, по существу, равнодушно «взирают» на порчу литературных нравов, на отравление молодежи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние «короче воробьиного носа».

Это интеллигентски-демагогическое «как-то изолировать» – чрезвычайно показательное. (Этакий «любящий» папаша, не знающий, что делать со своим чадом, – лицемерие чудовищное!) Тем не менее обвинение есть, но нужен еще приговор. И за ним дело не стало. Горький приводит строки из письма «мифического» партийца: «Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически – это не ново знающим творчество Васильева – это враг».

В этом грязном доносе больше всего поражает даже не его обличительный пафос (искусственно-демагогический по своей сути), а фраза о «знающих творчество Васильева», произнесенная перед объявлением приговора, потому что самому Горькому творчество мо-

лodgeго поэта было неведомо, о чем свидетельствуют воспоминания И. Гронского, тем более ценные, что знакомят не только с нравами той эпохи, но и поступают к нам, что называется, «из первых рук»: «Летом того же 1934 года мы с А.Н. Толстым как-то навестили Горького. Сели obedать. Алексей Максимович обращается ко мне:

– Вы сердитесь на меня за Павла Васильева?

– Да нет, не сержусь, но я просто поражен, как Вы могли написать такую вещь. Вы, Алексей Максимович, разглядели в Васильеве только проблему бутылок, которыми он не очень-то и увлекается. А стихи его вы читали?

– Мало. Так, кое-что.

– Как можно писать о литераторе, не читая его? Это совершенно потрясающей талантливости поэт!

Мы с Горьким вступили в спор на грани ссоры. Толстой встал и ушел. Потом вернулся с пачкой журналов в руке:

– Ну что вы ссоритесь? Давайте-ка, я вам лучше стихи почитаю, это куда полезнее.

И Толстой, открыв журнал, начал читать. Одно стихотворение, потом другое, третье. Горький встрепенулся:

– Алексей Николаевич, кто это?

А Толстой продолжал читать.

– Кто, кто это? Что это за поэт? – басит Алексей Максимович. И Толстой, перегибаясь через стол, говорит:

– Это Павел Николаевич Васильев, которого вы, Алексей Максимович, обругали.

– Быть не может!

– Вот, пожалуйста, – Толстой передал журналы. Горький взял и стал читать одно за другим стихотворения. Дочитал... Налил себе виски:

– Неловко получилось, очень неловко...»

Это ханжеское признание «под виски» интересно как частная деталь, в известной степени довершающая исторический и литературный портрет эпохи, а также объясняющая поведение Горького (и не только его) в те трагические годы.

Васильев еще пытается шутить, в ответ на статью Горького пишет эпиграмму:

**Пью за здравие Трехгорки,
Эй, жена, завесь-ка шторы,
Нас увидят, может быть,
Алексей Максимыч Горький
Приказали дома пить.**

«Эту эпиграмму, – вспоминает И. Гронский, – я прочитал Горькому. Горький рассмеялся: «Какая умница! Ведь вот одно слово «приказали», всего-навсего одно слово! И одним словом он меня отшлепал! Не придерешься! Приказали. Ведь так говорили о своих господах. «Барин приказали!..»

Но барское благодушие пролетарского писателя проблемы не разрешало. Нужно было ка-яться. Всех деталей этой далеко не детской игры «в кошки-мышки» теперь уже восстановить невозможно, но сохранилась своеобразная «переписка» Васильева и Горького, которую можно привести, хотя бы по двум причинам: во-первых, для иллюстрации литературных нравов этой «виртуальной» эпохи и, во-вторых, чтобы яснее представить себе ту «творческую» атмосферу, в которой Васильев создавал свои стихи.

«Я вполне понимаю всю серьезность и своевременность вопроса о быте писателей, который вы поставили в вашей статье «О литературных забавах», – пишет Васильев, не имеющий ни жилья, ни постоянного заработка, ни даже прописки, хотя понятно также, что ментор и босяк, живущий барином, Горький до такой «прозы жизни» снисходить не будет. Заметим, кстати, что этот нравственный феномен: барин-босяк – не имеет противоречия. Босяк с точки зрения менталитета: говоря современным языком – бомж, не укорененный ни в историческую, ни в социально-бытовую среду, и – барин по своим социально-бытовым запросам и благоприобретенным привычкам.

В его же статье речь идет о «чистоте» литературных рядов и творческих помыслов. Васи-

льев выдерживает рамки предложенного жанра и продолжает «покаяние»: «Меня лично Ваша статья заставила глубоко задуматься над своим бытом, над своим творчеством и над кругом интересов, которые до сих пор окружали меня и меня волновали. («Я хочу, чтобы слова роскошествовали!») – скажет он однажды о своих стихах. Здесь же вымученные фразы производят почти гнетущее впечатление. – П.Л.)

Я пришел к выводу, что должен коренным образом перестроить свою жизнь и раз и навсегда покончить с хулиганством, от которого, как правильно Вы выразились, до фашизма расстояние короче воробьиного носа. Свою перестройку я покажу на деле. (Перестройки потом от него будут требовать все, всегда и везде. Требовали ее и на вечере в «Новом мире», на что Пастернак, присутствовавший на том заседании, заметил: «Горе той литературе и тому литератору, которому нужно органически переделать себя». – П.Л.)

Васильев пытается объясниться сам и объяснить Горькому неизбежные последствия его «воспитательной» статьи, опять клянется в верности и политической лояльности к советской власти: «Но, Алексей Максимович, в письме, которое вы публикуете в своей статье, неизвестный автор называет меня прямо политическим врагом. Это глубоко неправильно и голословно. Имея в своих произведениях отдельные идеологические срывы, политическим, т.е., сознательным, преднамеренным и расчетливым врагом советской власти и литературы я не являлся и никогда являться не буду.

Вы, Алексей Максимович, человек, окруженный любовным и заботливым дыханием всей нашей великой страны, человек, вооруженный неслыханным в мире авторитетом, больше чем кто-либо другой поймете, что позорная кличка «политический враг» является для меня моей литературной смертью. (Он еще и мысли не допускает, что смерть может быть не только литературной. – П.Л.)

Большинство литераторов и издателей поняли вашу статью как директиву не печатать и изолировать меня от общественной работы...

Я думаю, Алексей Максимович, что такая заклёвывательная кампания вовсе не соответствует Вашим намерениям, что Вы руководитесь другими чувствами и что мне открыты еще пути к позициям настоящего советского поэта».

Письмо сохранилось только в архиве Горького, ответа Васильев не получил. С. Шевченко предположил, что письмо могло не устроить адресата недостаточной степенью покаяния (с мещанско-барской точки зрения пролетарского писателя, видимо, нужно было валяться в ногах и посыпать голову пеплом. – П.Л.)

Ответил Горький уже на другое письмо Васильева, в котором Поэт уже исключительно только кается и надеется «завоевать право называться советским поэтом»: «...Стыдно и позорно было бы мне, Алексей Максимович, если бы я не нашел в себе мужества сказать, что, да, действительно такое мое хулиганство на фоне героического строительства, охватившего страну, и при условии задач, которые стоят перед советской литературой, – является не «случаями в пивной», а политическим фактором. От этого хулиганства, как правильно Вы выразились, до фашизма расстояние короче воробьиного носа. И плохо, если здесь главным обвинителем будет советская общественность, а не я сам. Ибо ни партия, ни страна не потерпят, чтобы за их спиной дебоширили и компрометировали советскую литературу отдельные распоясавшиеся писатели.

Не время! Мы строим не «Стойло Пегаса», а литературу, достойную нашей великой страны.

И Вы, Алексей Максимович, поступили глубоко правильно, ударив по мне и по тем, кто следовал моему печальному примеру».

Тон письма изменился принципиально. В первом письме Васильев не только калялся, но и высказывал опасение за свою литературную будущность. Теперь он не только благодарит за то, что «его бьют», но и готов отказаться от прошлого: «...Мне же нужно круто порвать с прошлым. Я прошу Вас, Алексей Максимович, считать, что этим письмом я обязываюсь раз и навсегда прекратить скандалы и завоевать право называться советским поэтом...»

Стиль соответствовал всем идеологическим «канонам» нового времени. Васильев еще и еще раз клянется в верности «суровой, но справедливой власти»: «Алексей Максимович! Мне, конечно, трудно рассчитывать на Ваше доверие. Но так как, я повторяю, я пишу это письмо, я хотел бы прибавить ко всему сказанному еще несколько слов: имея значительные идеологиче-

ские срывы в своих произведениях, я никогда не являлся и не буду являться врагом советской власти».

Горький ответил на письмо, причем сделал это публично, предав гласности и письмо Васильева, и свой ответ на него: «Я не стал бы отвечать Вам, Павел Васильев, если бы не думал, что Вы писали искренно и уверенно в силу Вашей воли. Если этой воли хватит Вам для того, чтобы вы серьезно отнеслись к недюжинному дарованию Вашему, – которое, как подросток, требует внимательного воспитания, если это сбудется, тогда Вы, наверное, войдете в советскую литературу как большой и своеобразный поэт.

О поведении Вашем говорили так громко, писали мне так часто, что я должен был упомянуть о Вас, – в числе прочих, как Вы знаете».

Далее следует основная часть письма, ради которой оно, вероятно, и было не только написано, но, что важнее, – опубликовано. Письмо Васильева было использовано как повод для декларирования своей позиции и, самое главное, определения своей роли в новой общественной и, разумеется, литературной жизни: «Мой долг старого литератора, всецело преданного великому делу пролетариата, – охранять литературу Советов от засорения фокусниками слова, хулиганами, халтурщиками и вообще паразитами. Это – не очень легкая и очень неприятная работа. Особенно неприятна она тем, что как только дружески скажешь о ком-либо неласковое или резкое слово – то тотчас же на этого человека со всех сторон начинают орать люди, которые ничем не лучше, а часто – хуже. Так было в случае с Панферовым: немедленно после моего мнения о небрежности его работы на Панферова зарычали, залаяли (да, язык не обманешь: лексика, стиль, как и следует «чуткому» писателю, соответствующие волчьих-собачьей эпохе. – П.П.) даже те люди, которые еще накануне хвалили его. Этим двоедушных, беспринципных паразитов пролетариата нужно ненавидеть, обличать, обнажать их гнуснейшее лицемерие, изгонять из литературы так же, как всякого, кто, так или иначе, компрометирует советскую литературу, внося в нее всякую дрянь и грязь».

Пафосно-безадресное обличение «беспринципных паразитов пролетариата», а также «всякого, кто... компрометирует советскую литературу», носит, в лучшем случае, декоративно-орнаментальный характер и по ханжеству не уступает первому письму. Вообще говоря, основная цель публикации писем – к Васильеву не имела ни малейшего отношения.

Основные мотивы в поведении Горького в этот период можно объяснить только с учетом той ситуации, которая сложилась в связи с грядущим I съездом советских писателей и беспрецедентной возни вокруг этого события, поднявшей всю грязь из потаенных «духовных» глубин пролетарских писателей.

И. Гронский в беседе с А. Исполюновым, состоявшейся через полвека после описываемых событий, приводит такие свидетельства: «Разговор у меня был со Сталиным, где я назвал впервые метод социалистического реализма. Горький же хотел быть председателем оргкомитета и Союза писателей. Демонстративно уехал в Италию, потом дважды добился переноса даты съезда.

Я прекрасно понимал, что он будет добиваться отложения съезда писателей и в третий раз, потому что Горький хотел возглавлять литературу».

И. Гронский приводит занимательный рассказ о съезде и околосъездовской и околосъездовской литературной возне. «Надо Горького канатами привязать к партии», – вспоминает он слова Сталина. Для этого были организованы пышные празднества, посвященные 40-летию литературной деятельности Горького, в связи с чем, в частности, состоялись повсеместные переименования улиц, городов, пароходов, самолетов и т.д.

Автор политической прокламации «Мать», «родившей», как известно, новую литературу, однако, не был одинок в своих претензиях на звание «отца советской литературы». Ф. Гладков в письмах, в том числе Горькому, с «цементной» убежденностью доказывал, что это он – «зачинатель пролетарской литературы».

После съезда, впрочем, он подошел к Горькому: «Алексей Максимович, поздравляю». Горький оказался «адекватен» в своем ответе: «Что-то я Вас не помню...»

Вообще, чтение подобных документов производит просто гнетущее впечатление.

30-е годы – трагическое, непостижимое время. «Прочел на днях статью Горького «Литературные забавы», – писал известный в свое время революционер, журналист и партийный дея-

тель, а к 30-м годам уже отбывавший одиночное заключение, Мартемьян Рютин. – Тягостное впечатление! Поистине нет для таланта большей трагедии, как пережить физически самого себя.

Худшие из мертвецов – это живые мертвецы, да притом еще с талантом и авторитетом прошлого.

Горький-публицист всегда был тем нашим «любимым» русским сказочным героем, который на похоронах кричит: «Таскать бы вам не перетаскать», а на свадьбе – «Канун да свеча».

Горький-публицист позорил и скандализировал Горького-художника.

Его трагедия – огромное художественное чутье и почти никакого философского и социологического. Схватив верхушки и обрывки философии и социологии, он вообразил, что этого достаточно не только для того, чтобы «изображать», но и для того, чтобы теоретически «поучать». Горький – певец человека превратился в Тартюфа. Горький «Макара Чудры», «Старухи Изергиль» и «Бывших людей» – в тщеславного ханжу и стяжателя «золотых табакерок», Горький-сокол – в Горького-ужа. Человек духовно уже умер, но он все еще воображает, что переживает вторую молодость. Мертвый хватает живых! Да, трагично!..»

Конечно, Горький оказался всего лишь дорогим «антиквариатом» в руках новой власти, впрочем, «по согласию» и за большие деньги отдавшийся этой власти. В данном случае важно, что возможность выбора, хотя бы внутреннего, духовного выбора, все-таки сохранялась и судьба М. Рютина – одно из ярких тому подтверждений. Насколько глубоким и ясным было понимание всего трагизма эпохи свидетельствует манифест «Ко всем членам ВКП (б)», написанный М. Рютиным в 1932 году: «Партия и пролетарская диктатура Сталиным и его свитой заведены в невиданный тупик и переживают смертельно опасный кризис. С помощью обмана и клеветы, с помощью невероятных насилий и террора, под флагом борьбы за чистоту принципов большевизма и единства партии, опираясь на централизованный мощный партийный аппарат, Сталин за последние пять лет отсекал и устранил от руководства все самые лучшие, подлинно большевистские кадры партии, установил в ККП(б) и всей стране свою личную диктатуру, стал на путь самого необузданного авантюризма и дикого личного произвола...»

На всю страну надет намордник, бесправие, произвол и насилие, постоянные угрозы висят над головой каждого рабочего и крестьянина. Всякая революционная законность – поправа!.. (Революция и законность, конечно, – несовместимы. В данном случае эти идеалы молодости – единственная возможность для автора манифеста сохранить беспримерное бесстрашие и мужество. – ПЛ) Наука, литература, искусство низведены до уровня низких служанок и подпорок сталинского руководства».

Конечно, верность себе будет стоить ему жизни, но в Заявлении в Президиум ЦИК он напишет: «...Я, само собой разумеется, не боюсь смерти... Я заранее заявляю, что не буду просить даже о помиловании, ибо я не могу каяться и просить прощения или какого-либо смягчения наказания за то, чего не делал и в чем абсолютно неповинен».

Я не раз думал, как выжила в 20 веке литература после того, что с ней творили. А объяснить это, видимо, можно тем, что сила таланта П. Васильева и сила характера М. Рютина и многих-многих равных им по своей художественной и человеческой силе, как это ни парадоксально, оказались сильнее страха жестокого наказания, и даже смерти.

Вот уж поистине: «Слово, слово – великое дело!»

